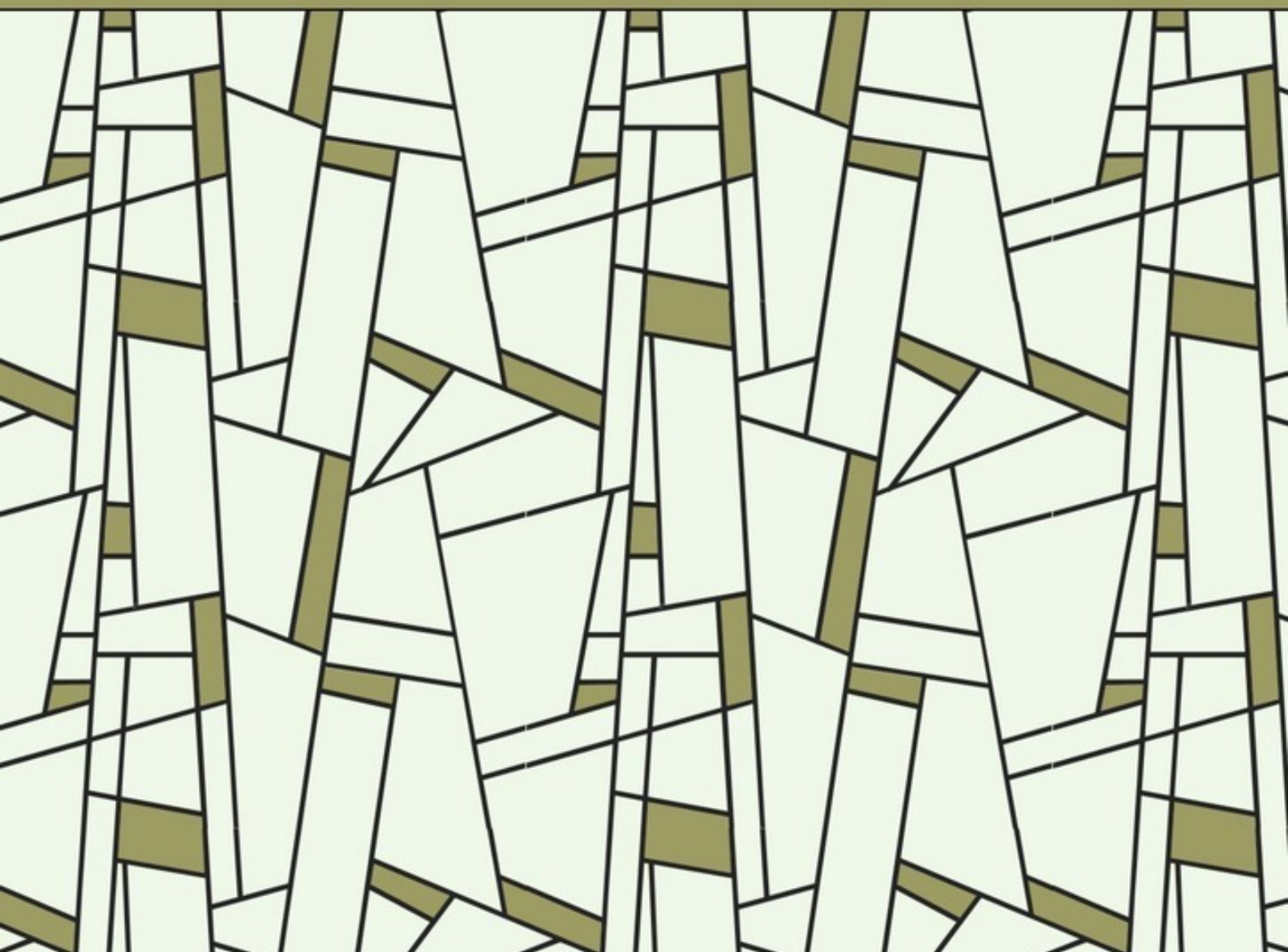


алексей праслов

РАССКАЗЫ

Сколько ног у муравья?



Алексей Праслов

Рассказы. Сколько ног у муравья?

«Издательские решения»

Праслов А.

Рассказы. Сколько ног у муравья? / А. Праслов — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-00-508147-6

Сочинённая, но не придуманная правда. Можно сказать, «затерянный» мир. А может быть, потерянный. Чего нам всем, выходцам оттуда, жаль. Простые, добрые и наивные люди. Чудаковатые. Немного «диктует» жанр, но лишь немного. А простота и наивность не от тупости и забитости, а от нежелания никому зла. Опять выходит — доброта. И философствуют, и дерутся, и милуются, и жалеют друг друга. Живые люди.

ISBN 978-5-00-508147-6

© Праслов А.
© Издательские решения

Содержание

О Б И Д А	6
ТРЕТЬЯ ВСТРЕЧА	12
Конец ознакомительного фрагмента.	15

Рассказы Сколько ног у муравья?

Алексей Праслов

© Алексей Праслов, 2019

ISBN 978-5-0050-8147-6

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

О Б И Д А

Пётр Иванович Жаров схоронил свою жену в начале весны. Место на кладбище досталось им, он считал, хорошее. Всего сто шагов от входа и налево у самой ограды-стены – её могила. Поначалу эта стена раздражала его. Голая неоштукатуренная кладка кирпичей с потёками раствора своей казённостью сбивала с тихого печального настроения. Но к лету она затянулась плющём, расцвела весёлыми вьюнками и, словно, подобрела. А краснота кирпичей, кое-где проглядывавшая сквозь густую вязь плюща да шалашик из старой коричневой жести, который венчал стену по длине, даже добавляли домашности и уюта. Это успокаивало Жарова, стройного седого и всё ещё красивого старика. Тёплый зелёный июнь смягчил его, понемногу выманил из ожесточённого безразличия к себе и к жизни вокруг, в которое он впал после смерти жены, но не разбавил тоску по ней. Ему было одиноко.

В прошлый свой приход Пётр Иванович заметил, что через ряд, тоже у стены, появилась новая могила. По утрам в этом уголке кладбища тень, и бледно-голубая оградка из торчащих вверх тонких пик, памятник такой же окраски чётко рисовались на тёмном фоне зелени. Тогда, перед уходом, Жаров поинтересовался «соседкой». Покойница и вправду оказалась женщиной. Совсем молодая, в гимнастёрке с лейтенантскими погонами, из-под пилотки – чубчик кудряшек, красивая.

– Жить бы да жить тебе. – вслух пожалел её Пётр Иванович. Он глянул на даты под фотографией и удивился. Оказалось, что она всего на шесть лет моложе его. Как покойница жена. «С войны фото.» – догадался он и опять вслух проговорил:

– Всё равно жаль!

В этот раз он пришёл рано, по холодку, ещё не было шести. У новой оградки, вцепившись обеими руками в тонкие пички, стоял мужчина. Жаров видел его со спины. Длинный светлый плащ, тёмная полоса выбившегося шарфа и седая голова. Старый, одинокий и, наверное, больной, раз в жару в плаще, человек. Жарову захотелось посочувствовать ему. Горяча, свежа была и его боль и до сих пор хотелось чьего-либо участия. Что плохого в том, что старик пожалеет старика, человек человека?

Проходя специально мимо, он кашлянул, чтобы обратить на себя внимание. Мужчина шевельнулся. Пётр Иванович прижал руки к груди и сделал лёгкий поклон в его сторону. На мужчину он не смотрел, боясь увидеть в чужих глазах тоску и растерянность, от чего и сам ещё не избавился. Чуть постояв с опущенной головой и ещё раз поклонившись, он повернулся уходить, но резкий громкий стон остановил его. Жаров оглянулся. Зацепившись воротником за пичку, мужчина висел на ограде. Крепкая ткань плаща не дала ему опуститься на землю, и он завис со вздёрнутыми вверх от натяжения рукавами, как распятый. Застёгнутый ворот упёрся в подбородок, запрокинул потное, с открытым ртом, лицо. И Жаров узнал его:

– Капитан!

Тяжёлая усталость, как наброшенная сеть, мгновенно опутала его...

...Так называемый Госфильтр Пётр Жаров проходил в небольшом городке под Москвой. Молодой лейтенант, сковыривая прыщи на подбородке, смотрел на Петра виновато и уважительно. Спрашивал тихо, как бы извиняясь, записывал неторопливо ответы и опять поднимал лицо к стоящему напротив Петру. Жаров, напуганный рассказами о проверке, совсем успокоился и отвечал честно, не утаивая и не сглаживая даже те мелочи, которые могли ему навредить и о которых можно было умолчать. За два года и девять месяцев он много думал о том, виноват ли он, задавал себе вопросы, какие, как он предполагал, зададут ему по возвращении его из плена, находил на них достойные и, главное, правдивые ответы и уверился в том, что никакой вины за ним нет.

Петру нравился тихий, уважительный лейтенант. Делал своё дело человек спокойно и уверенно, и проверяемый, Пётр чувствовал по себе, принимал это, как необходимую формальность.

Вошёл капитан, бросил свою фуражку на стол перед лейтенантом, тот сразу вскочил, козырнул и отошёл к окну. Капитан, усталый, злой, сел на его место, ширкнул взглядом по делу Петра, потом по нему самому и покривился, видно, учуял запах его гниющей руки.

Петра не обидел его взгляд. Он привык к этому, и не осуждал ни усталость, ни злость капитана, наверное, честно провоевавшего всю войну в особом отделе. Теперь, когда пограничные столбы были врыты в свои старые лунки, дел для особистов стало не меньше. «Потерпим и это», – подумал Пётр, глядя на усталого капитана. Даст бог, проживётся это время, отойдут подальше, забудутся обиды и злости, тогда можно будет присесть где-нибудь за столиком или на бережке, на рыбалке, да и поговорить о том, кому было тяжелее, кому легче. А то и помолчать вместе, зная, что никому и нигде в те годы сладко не было.

Пётр устал. Он не мог бы сказать, чего ждал больше: решения своей участи или облегчения. Проклятая «пустяковая» рана не давала и не даёт ему житья. Поначалу всё вроде стало заживать. Расщепленные кости спаялись в твёрдый бугристый комель, подсохла и втянулась в воронки ран новая кожа, зачесалась под болячками. И Пётр обрадовался – значит, дело идёт на поправку. Но радость была недолгой. Рука начала гнить. Отскочили обманувшие его болячки, вздулась кроваво-синими волдырями кожа, и заломило руку болезненной зубной ломотой. Боль была постоянной. Скоро у Петра не осталось сил терпеть. Ни работать, ни спать он уже не мог. Ноги ещё держали его, тело, хотя и слабо, подчинялось приказам, но желание умереть было сильнее и безжалостней.

Ночами луна, попадавшая в маленькие, кривые оконца, освещала серо-зелёные лица с чёрными, как у черепов, провалами глазниц. Огоньки коротких самокруток плавали в темноте от одной тени к другой, слабыми вспышками раскура разгоняя бредовые видения тьмы. Петру казалось, до явной, физической осязаемости, что всё происходящее уже за пределами человеческого терпения, и он с жадной ждал смерти. Все страхи давно были пережиты и такой исход казался ему избавлением. Снежным утром под Новый год он не встал с нар.

Но умереть ему не дали.

– Не-е, хера с два им! Не торопись в яму-то, не надо... А кто её... для них копать будет... да побольше... да поглубже? Так что вставай... Вставай, вставай! Да вставай же ты, сучье вымя!

Получеловек-полутень с кривым прострелом очередью от шеи до правого соска стащил Петра с нар и, хрипя, шипя в ухо негромкой родной матерщиной, почти на себе доволлок его до места работ.

– Убей меня, друг... Пристрели... – молил его Пётр, стораю в своём жару, -не могу! Пристрели!

– Чем я тебя? – хрипнул тот в ответ. – Этим, что ль? – он свободной рукой мазанул по своему паху.

Где хрипун брал силы на злость, Пётр не мог понять. Он сознавал, что пропустил тот момент, когда можно было сдержать себя, не дать нарывной, стреляющей боли выесть силы и желание жить, но, как петля стягивает дыхание, так и сознание душил вопрос: «Зачем? Зачем так жить?» Сон, явь, бред стали неразличимы. Когда его спрятали в неглубокую нишу из-под выбранной глины, завалили снятыми с себя телогрейками, шинелями, чтобы скрыть от охранения, он, унюхав запах сырой земли, оттаявшей от дыхания, закричал:

– Сперва убейте, братцы! Сперва убейте!

И, может быть, эта последняя вспышка страха перед могилой спасла ему жизнь.

– Да молчи ж ты, сучье вымя... Пристрелят! – услышал он знакомый хрип, и штык лопаты вскользь резанул его раздувшуюся руку.

Фыкнул фонтан лопнувшего нарыва, сквозанул через всё тело и выдернулся какой-то свербящий острой болью нерв и сразу сбросилось напряжение, ослабла натуга мышц. Рука стала ощутимо живой и лёгкой. Щекотливое подёргивание онемевшей плоти разбивало сплошной ломотный зуд, отчего боль начала утихать. Пётр, всхлипами вдыхая густую гнойно-земляную вонь, медленно, словно сквозь крепкие паутины, которые рвались не сразу, а с тугим растягом и по одной, рывками провалился в сон.

Четыре раза потом, озверевший от боли, он сам прокалывал нарыв, мял бугристый локоть, выдавливал вместе с гноем волокна перегнившего мяса. И засыпал после этого, как в детстве вздёргиваясь стрижом над обрывом, видел свою тихую чистую речку, купался в ней, заходясь во сне рыданиями от удовольствия. Жил!

Всё рассказал капитану Пётр.

Нестерпимо болела рука. Здесь, у своих, можно было расслабиться и как-нибудь покричать, что ли, повыть ли, чтобы облегчить мученья, но он уже привык, приучил себя переносить всякую боль молча. Пётр понимал, до чего жалко выглядит он перед капитаном, перед пацаном лейтенантом, который хмурился, стараясь не смотреть на него. Но сейчас ему было почти всё равно.

Капитан сделал последний росчерк на бумаге и молча, злым из-под лобным взглядом упёрся в дверь. Было ясно, что дело Петра как-то завершилось.

Выступила липкая и вонючая испарина. Петру захотелось попросить прощения за слабость, но он только улыбнулся, когда увидел, как брезгливо поморщился капитан...

...Оградная пичка проткнула плащ. Крепко схваченный за шиворот капитан дёрнулся, свис ещё ниже. Пётр Иванович опять услышал его стон, короткий, как быстрый выдох, и увидел, что он, втянув в себя побуревшие губы, плотно, с прикусом, сжал рот. И Жарову пронзительно захотелось, чтобы приступ боли открыл капитану глаза, и чтобы он увидел и узнал его, Петра. Увидел его гадливую, презрительную усмешку, которую обида и месть таили в нём сорок четыре года. И он даже попытался усмехнуться, с секундной радостью ожидая взгляда, но губы тугой резиной сжались обратно и задрожали в слабом сопротивлении другому желанию.

– Что ж я? Что ж я, гадина? – чуть ли не с плачем вырвал он себя из помрачения. – Что ж я, сушь вымя?!

Четыре шага до капитана неверные пружинные ноги несли Петра Ивановича медленно, словно он шёл под водой. И даже дыхания не хватало, пока он не схватился за ограду и не вдохнул глубоко до полной растяжки лёгких.

– Ах ты! Ах ты! – бил себя укоризной Жаров. Он обнял капитана подмышки, потянул вверх, чтобы снять с пики, но сил не хватило. Тогда он упёрся подбородком в его плечо, надавил своей грудью ему на грудь, повис на нём, силясь порвать зацепившийся воротник.

– погоди, капитан... Родной ты мой капитан! Потерпи, потерпи... Сейча-ас!

Не выдержал тяжести двух тел шов, треснул, мелькнул перед глазами Жарова клин разрыва, хлестнул по щеке конец оторванного воротника, и они, как уставшие борцы, лицом друг к другу свалились у ограды.

– Сейчас, сейчас... – шептал Пётр Иванович, торопя себя, – сейчас...

Он встал на колени, поднял за плечи капитана, прислонил к оградке. Его пугали редкие, дёрганые вздохи-захлёбы старика, он боялся не успеть. И не было у него теперь другого желания, кроме одного – спасти человека...

...Лез на остановках в зарешечённую четырьмя толстыми прутьями отдушину паутиный покой бабьего лета. На крутых поворотах коротких перегонов залетал тёплый, но свежий ветерок, разбавлял тошнотную вонь потных, грязных тел. Жаров сидел в углу вагона на тощей кучке соломы, смешанной с сухим конским навозом. Две недели в госпитале сверкнули короткой радугой в разрыве туч, и только стираный желтоватый бинт на руке напоминал ему об этих

днях. Уткнувшись носом в повязку, он вдыхал резкий аптечный запах и, как от нашатыря, выплывал из тёмного омута оцепенелости.

Обласканный и успокоенный обхождением в госпитале, он жил в тихой радости, как внове ощущая жизнь, страшась и удивляясь каждому её дню. Несколько раз в крепком сне видел себя на берегу речки, видел рядом с собой усталого капитана, говорил ему что-то, успокаивал, поглаживая по плечу, и они улыбались друг другу. И опять он летал, только уже парой с капитаном, взяв его за руку и показывая вниз на круглый изгиб реки, на дом у берега, где жил до войны. Они смеялись свободно и весело, видя на яру прыщавого доброго лейтенанта, который задрав голову, непонимающе смотрел на них из-под козырька. Кричали ему вниз, звали с собой, а он вдруг, как ребёнок, начинал плакать, отворачивался обиженный, сжимал голову руками, словно не хотел, или был не в силах познать какую-то тайну. Днём в лёгкой послеобеденной дрёме Пётр вспоминал этот сон, вспоминал довоенную жизнь, клуб, где был заведующим, холостяцкие гулянки, которых сейчас было не жаль, а наоборот, стыдно. Он не знал, как пойдёт его жизнь дальше, но первое, что наметил после госпиталя – жениться.

В пять утра его разбудили, не грубо, но жёстко взяли под локти и увели из госпиталя. До темноты, стоя на одном месте, Пётр выглядывал из-за оцепления, ловил выход капитана из дверей полуторозажного кирпичного дома. Дождался его, поднял руки напомнить о себе, стал даже что-то кричать, но капитан, не глядя в их сторону, ушёл в темноту. Невыносимо тяжёлый груз непонимания и обиды свалил Петра в пыль к ногам солдата. Он проехал щекой по солидольной смазке голенища, и, как отчаявшийся голодный пёс, с надрывным воем вцепился своими цинговыми зубами в сплюсненную складку кирзового сапога. Солдат мягко отпихнул его, и он зарыдал, задыхаясь и кашляя от втягивающейся в рот, в нос цементно-земляной пыли...

...Пётр Иванович торопился расстегнуть плащ, освободить грудь капитана, распахнуть её для свежего воздуха, но никак не мог справиться с пуговицами. Врезавшиеся в перемычки петли не выпускали их. Тогда он, помогая дрожащим рукам зубами, оборвал их одну за одной и раздёрнул в стороны борта. Он пожалел сейчас, что уже с месяц не носит с собой нитроглицерин.

– Прости старого дурака.

Обыскал капитана, выбрасывая из его карманов всё, что нащупывали пальцы. Таблеток не было.

– Ах, ты... ах ты... – опять засуетился в своей бесполезности Жаров, – выгадали себе прохладу...

Схватившись за оградку, он вытянулся на цыпочки, оглядел кладбище. Ждать помощи было не от кого.

– Надо на улицу... бежать... звать людей...

Под ногой у него что-то хрустнуло. Пётр Иванович отодвинул ногу и увидел раздавленную склянку. Встав на четвереньки, он сдул пыль с осколков, мизинцем раздвинул их и осторожно подхватил двумя пальцами уцелевший желобок склянки, в котором белела раскрошенная таблетка. Он понял, догадался, что капитан сведённый судорогой, не успел положить её в рот, выронил. Пётр Иванович, подкладывая снизу ладонь другой руки, поднёс желобок к сжатым губам капитана.

– Слон я, слон... – шептал он, – старый, неуклюжий слон... – и обильные слёзы текли по его лицу. Он сдавил свободной рукой капитановы щеки, ссыпал в щелку вывернувшихся губ таблеточную пыльцу, большим пальцем вмазал её до зубов и зашептал ему прямо в закрытые глаза, уговаривая, как ребёнка:

– Слизни, капитан! Слизни, всё помощь... Ну, давай, родной! А я сейчас...

Жаров поцеловал хрипнувшего капитана в переносицу, с трудом поднялся, стараясь не замечать ощутимо погорячевшую левую половину груди, и побежал по ровной асфальтированной дорожке между могилами.

– Люди-и-и! – опережал он себя криком, – люди-и... Человеку... плохо... помо... лю-у-у...

... – Вперёд, волжане! Вперёд, мужики-и!

Пётр рванулся с криком «Ура!» вместе со всеми. Только на секунду, когда вырвался из окопа, закрыл глаза, подумал, что вот сейчас резанёт очередь и зачеркнёт его жизнь навсегда.

– За Родину! – крикнул комбат.

– За Сталина! – вложил свой крик в общий рёв Пётр.

Толстая заноза проткнула правую икру и нога сразу начала отставать. «Ранен?» – не оставившаяся, подумал Пётр. Он увидел, как слева от него смешно закрутился волчком и упал сосед по окопу, Васька из Самары. А по всей цепи прыгали, взлетая и ныряя вниз, словно играли в чехарду, полусогнутые, скомканные солдаты.

– Ура-а! – орал он, почему-то зверея от этой чехарды. Он бежал, хромя, высматривал промежутки между спинами впереди бегущих, чтобы послать вперёд себя пулю, но так и не решился выстрелить, боясь зацепить кого-то из своих. Откуда-то справа начали бить мины. Замяукали редкие мины, словно прорвали какой-то невидимый заслон и посыпались градом, кошачьим воем выскребая из заполошных душ остатки уверенности и силы.

– Ложись! – услышал Пётр сзади и упал сразу, будто схваченный снизу за ноги.

Второй команды он уже не слышал. Очнулся не от боли, не от крика, а от странного чавканья в бравом боку. Поднял голову, увидел рядом с собой неглубокую минную воронку, пятерых немцев. Один из них тыкал носком сапога в его хлюпающий бок...

... – Старый пень! Тяжело ему таблетки... в кармане... Здоровый, видите ли... Не пень, хрен старый! – ругал себя Пётр Иванович, на бегу ища глазами выход с кладбища. – Да где же, где он? Где? А почему стена слева? Почему стена...

Он остановился. Слово чья-то сильная и безжалостная рука сжала в кулаке его сердце и задёрнула из стороны в сторону, обрывая нити сосудов. Он понял, что бежит в обратную от входа сторону. Вспыхнула в груди медленно разгоравшаяся топка, перехватило дыхание, будто выпаривалось оно не доходя до лёгких, и Пётр Иванович, зная, что вернуться к выходу ему уже не успеть, бросился к кладбищенской стене...

...От тупика к тупику перетащил паровоз свой груз за Урал. Морозящая прохлада вошла в вагон утренним туманом, выстудила его потный зной и волглые одежды заключённых. Пётр только по нужде вставал со своей соломенно-навозной подстилки. С отчаянием и страхом ждал он предстоящую жизнь. С этим же страхом, послушный и безвольный, в разномастной толпе вырубал лес под свой барак, расширяя лагерь уголовников. И в конце октября, сжимаясь как от желудочной боли, скорчился на новых, узких и коротких, нарах...

...Рука никак не могла зацепиться за пологий шалашик стены. Жаров падал, опять поднимался, прыгал и всё-таки нащупал более крутой излом жестяного конька. Он схватился за него левой рукой, повис на стене и, напрягая остатки сил, потянул вверх правую, навеки застывшую бумерангом, руку. Казалось, что все жилы от самой ступни до покалеченных костей вылезли туда, к кисти, но торчащие пальцы никак не могли захватить край и скользили вниз по скату, сдирая ногтями краску и ржавчину...

Старый еврей, тоже из бывших пленных, прочистил, промыл все его свищи и забинтовал руку.

– Повезло вам, парень. Попадись с этим на фронте, оттяпали бы на раз. А так – рука!

Приятная тугая повязка из жёлтого бинта, забота картавого санитаря растрогали Петра, он заплакал.

– Живите, молодой человек, не плачьте...

... Жаров тужился, рвал себя вверх, как альпинист, оставленный какой-то подлой душой без связки и снаряжения.

– За Родину-у! – выкрикнул он, подстёгивая себя, – за Ста...

И как насмешка над его немощью, выскочили изо рта верхние вставные зубы, с глухим цоком стукнулись о стенку и упали на землю. Пётр Иванович, обессиленный, свалился вслед за ними. Только сейчас он понял давнишнюю капитанову злость, тут, перед стеной.

– Хрена с два-а... вам-м... – вспомнил он хрипуна, с трудом встал, со злой издёвкой вытолкнул языком и нижний зубной протез, выплюнул его и с криком прыгнул на стену, крюком забрасывая наверх здоровую руку. В крике он ругал себя за то, что побежал в другую от входа сторону, ругал далёкого старого еврея, склеивавшего его руку, материл его, материл всех и всё, и даже бога, отжимался от стены и бил с размаху локтем по кирпичам, зывал к каким-то неизвестным силам помочь ему опять раздробить костяной комель, чтобы разогнуть покалеченную руку хоть на сантиметр и дотянуться до гребня жестяного шалашика. «Зачем? Зачем? Зачем?» – крутилось в его горячем мозгу. Сплошной гуд-рѐв со слабыми колокольными прозвонами слышался ему вокруг. Но за секунду до жгущего остро-бритвенного разреза внутри, где сердце, щёлкнул по барабанным перепонкам резкий, визгливый голос из-за стены:

– Хулиганьё!

В потухающем кадре Пётр Иванович увидел свою съезжающую по стене окровавленную руку с пучком сиреневых выюнков в скрюченных пальцах, успел пожалеть их, и всё.

Их увезли на одной «Скорой помощи». Одного положили в реанимационное отделение, другого в морг.

И это было последнее заключение Петра Жарова.

ТРЕТЬЯ ВСТРЕЧА

В невысоком кудрявом кустарнике громко рыдал бывший командир взвода разведки, давно, ещё с войны, списанный из активной жизни по инвалидности, а теперь уже и по возрасту, в стельку пьяный Лазарь Семёнов. Катался по земле, рвал траву руками и зубами, ревел зверем, как только может реветь человек, когда у него заходится сердце и невыносимо жжёт в груди. Вокруг него бегал, спотыкаясь о корни, перепуганный и оттого на время отрезвевший, Петька Быков. Он уворачивался от самодельного до коленного протеза-культи Лазаря, влетая в кусты тесной для разгула полянки, изодрал в кровь лицо, руки и всё старался поймать и придавить к земле страшный для него протез, остановить горячку Лазаря, успокоить его.

– С ума сойдёт... Ей-богу, сойдёт! – бормотал он. – Зайдётся, ёлки, и сойдёт...

– Уйди, Петька! У-ох! Уйди, гнида... У-ох! – Лазарь глушил стоны, которые рвались из него, как рвётся кашель из груди при жестокой простудной болезни, глушил, уткнувши лицо в траву, вдавливал всего себя, раскоряченного, в землю.

– Лазарь Трофимыч, Лазарь Трофимыч, брось! – успокаивал его Петька, подступаясь со стороны правой, здоровой ноги. – Не заводись, слышь? Брось!

Лазарь будто послушался его, ещё раза два «охнул» и, стукнув кулаками по земле, обмяк, часто выстанывая утихающий приступ, как бы отдыхаясь. Петька чуть присел, согнулся, вытянул вперёд руки, словно собирался ловить бабочку или кузнечика, как их ловят дети, и, на всякий случай, мягко навалился на ноги Лазарю.

– Не тронь, гнида, не тронь! – захрипел Лазарь, выплёвывая траву и, вдруг, резко крутанулся на спину. Петька не ожидал такого рывка, не приготовился. Он взлетел на протезе, согнутый пополам, и, перевернувшись в воздухе через голову, упал в кусты. Протез чиркнул его по животу, порвал рубаху, неглубоко, но больно прокарябал тело и, примяв редкие жидкие прутья, клином вошёл между двух не толстых стволов. Затрещало дерево – не то протез, не то кустарник. Лазарь услышал треск, перестал дёргаться, крутится, раскинул в стороны руки, удерживая себя на спине, несколько раз всхлипнул на вдохе, словно икал, и затих.

В кустах быстрым, прерывистым шепотком, чтобы не спугнуть затишье, матерился Петька. Отматерившись, он выполз из кустов, постоял на четвереньках, готовый в опасный момент нырнуть обратно, дождался, пока Лазарь совсем ослабнет в своём припадке и, когда тот задышал, засопел носом глубоко и спокойно, как во сне, подсел к нему.

– У-у, ёлки, медведь... – проворчал он, радуясь концу этого непонятного буйства, – только рогатиной и остановишь.

Лазарь молчал. Петька легонько постучал кулаком снизу по застрявшему протезу, выбивая.

– Не тронь, – остановил его Лазарь, – пусть выйдет...

– Чего? Кто? – не понял Петька.

– Тоска, говорю... Пусть вся выйдет, потом...

– Дык, тоска! – Петька сморщил своё испитое лицо, потное, в кровавых царапинах, и угодливо хихикнул. – Её, хых, залить можно.

Он перевалился через Лазаря, пошарил руками где-то у него за головой в кустах. Страх, недавно дёргавший его и, казалось, трезвивший, отпустил. Опять накатывала какая-то внутренняя хмарь, терялась ясность. Он взвизгнул, вильнул задницей, словно пёс хвостом, и вывернулся из-за куста с бутылкой вина.

– Во-от... А ты – тоска!

– Дай-ка. – Лазарь, не поворачивая головы, протянул руку к Петьке.

– Один момент, Трофимыч. – Петька схватился за пробку зубами.

– Дай-ка. – повторил Лазарь.

– Аха, Твахымыч, увзе из-дёт! – тянул пробку из горлышка Петька.

– Дай-ка!

Лазарь не крикнул, не шевельнулся, лежал, как лежал, с протянутой к Петьке рукой, только чуть надавил на слово усталым выдохом, дал понять, что терпение у него сейчас слабое и лучше ему, Лазарю, не перечить. Петька уловил угрозу давешней горячки, сунул в его раскрытую ладонь бутылку и отполз к кустам.

Лазарь приподнялся на локтях, посмотрел на рогатину, зажавшую протез, и снова лёг на спину. Потом вдруг выгнулся животом вверх, дал место размахнуться здоровой ногой и сильно, с криком, ударил снизу ботинком по деревяшке протеза. Стесав клин буро-зелёной коры, она мягко выскочила из тисков. Лазарь пошевелил освободившейся ногой, поразмял её, затёкшую в долгом неудобном лежании, и тяжело встал.

– Ты чего, Лазарь Трофимыч, ты чего? – забеспокоился Петька, слабея от предчувствия.

Лазарь глянул сверху на маленького, помятого, словно изжёванного, Петьку и почувствовал – нет, ощутил – свою громадность и значительность, и пожалел, что это ощущение пришло в такой ненужный, постыдный момент. Злости не было, внутри было как-то нехорошо, но спокойно. Только подкатывала, как изжога, досада, обида на самого себя. И чем больше пьянел Петька от выпитого и от усталости, смявшей его после недавней борьбы с Лазарем, тем трезвее становился сам Лазарь. Он стоял почти вровень по высоте с деревьями, смотрел поверх них на взгорок, под которым и была облюбованная им с Петькой рощица. Там, на взгорке, на высокой, в три, четыре человеческих роста, жердине краснел флаг.

– Ты чего, Лас Трофимыч, ты чего? – как заведённый подвывал сбоку Петька. Он уже не верил в тяжёлое, давящее его спокойствие Лазаря, боялся этого спокойствия и извёлся в ожидании нового взрыва. – Ты чего, ёлки-палки, копишь-то?

Лазарь молча снял с ветки свой пиджак, одел его, перекладывая из одной руки в другую бутылку вина, и, сжав её за горлышко, как гранату, начал взбираться по склону, с силой втыкая в землю протез, чтобы удержать соскальзывающую по траве здоровую ногу.

– Лазарь Трофимыч! – крикнул вслед Петька.

Склон был пологий, ложбина, заросшая кустарником, неглубокая, и Лазарь, сделав шагов десять, был уже почти наверху.

– Ты дурак, Петьк, ты не поймёшь. – не оборачиваясь, отозвался он на его крик.

– Как пить вместе, так я понятливый... – обиделся Петька.

– Вот ты и пропилил всё!

– А мне нечего было пропивать! Одни штаны чуть ли не с детства таскаю.

Что разлило Лазаря, не понять. Будто сухого хвороста подкинул Петька на его угольки и вспыхнул, занялся огонь.

– Чем хвалишься, дурак?! – закричал он, разворачиваясь к Петьке. – Нечего!..

От резкого, крутого разворота его потащило вниз, и он стал съезжать по склону, вычерчивая за собой протезом борозду. Давняя глупая беспомощность, от которой он страдал в первые годы, как остался без ноги, и от которой долго избавлялся, вдруг проклюнулась непонятным страхом. Он зацепился за корешок, торчащий из земли, остановился, вдавил поглубже протез для устойчивости и посмотрел вниз. Нет, не упасть боялся он. Сколько падал на своём веку, синяков не считал. Который раз за полдня он поразился странному преломлению окружающего. Моментами всё казалось мельче, чем обычно, а он как будто выпирал из этой мелочи, возвышался над ней какое-то время и тут же сползал куда-то, как нырял, но выныривал и опять поднимался вверх. И будто впервые Лазарь со стороны, сверху, вглядывался в свою жизнь, прикидывал к ней старые, но строгие мерки и с горечью понимал, что крупный счёт, по которому надо спрашивать с человека, велик для него. Вся его теперешняя жизнь съёжилась, сморщилась, обеззубела. И словно в том низу, куда она сползла, а не в этой пушисто-зелёной лож-

бине, стоял маленький пьяный Петька Быков. И Лазарь, уже не думая, прав он или неправ, выхлестнулся в отчаянно-зломном крике на него:

– Ты мать свою пропил, которая из-за тебя от голода померла! Ты детдом свой пропил, в котором жрал и вырос! Ты семью и себя изуродовал... Ты глянь на себя... Окуроч жизни! Сам себя иссосал и выплюнул, одна копоть и вонь осталась!...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.